

М.М. Соколов

РУССКИЙ БУНТ ЕЛЕНА ОМЕЛЬЧЕНКО
Омельченко Е.Л. Молодежь: Открытый вопрос. Ульяновск:
Симбирская книга, 2004. — 184 с.

В постсоветской социологии доминируют два профессиональных типа, первый из них можно назвать «теоретическими фарцовщиками», а второй — «естественными монополистами». «Фарцовщики» приобретают статус в читающей и пишущей на русском части профессионального сообщества за счет импорта свежих западных теорий и методов — к которым сама эта часть лишена доступа из-за ограниченного владения иностранными языками и отсутствия личных контактов с лидирующими в современной социологии фигурами. «Естественные монополисты» получают финансирование и карьерные возможности за счет экспорта эмпирических данных, которые их западные коллеги не в силах собрать сами — опять же, в первую очередь, из-за языковых сложностей в проведении полевой работы здесь. Самые успешные индивиды и исследовательские группы, однако, совмещают оба эти вида деятельности, одновременно ввозя идеи — и вывозя сырые данные. Подобная форма работы гарантирует достаточно щедрую, по российским меркам, заработную плату и привлекательный образ жизни, включающий в себя свободный график, академический туризм и статус «интеллектуала».

Те, кто живет такой жизнью, склонны, однако, находить в ней не только светлые стороны. Одним ее недостатком является участие в заведомо неравном партнерстве. Среди молодых российских социологов обычное дело — жаловаться на академический неокOLONIALИЗМ, при котором западная сторона получает за совместную работу больше денег и публикации в более престижных изданиях, чем их коллеги здесь. Вторая проблема менее уловима, но, возможно, даже более серьезна. Элвин Гоулднер на первых страницах «Наступающего кризиса западной социологии» писал о том, что социологам приходится интеллектуально существовать в двух реальностях — «ролевой», которую они наблюдают в качестве профессионалов — и «личной», в которую они вовлечены в качестве членов своих обществ (Gouldner 1970: 37–45). Интерес Гоулднера как социолога знания состоял в том, чтобы продемонстрировать, как «личная» реальность

проникает в «ролевую», а любой теоретический язык наполняется категориями обыденной и идеологизированной «суб-социологии». «Личная» реальность переплетается с «ролевой», поскольку собственный опыт социологов предоставляет «эмоциональную инфраструктуру», без связи с которой теоретические построения выглядят лишь холодными и бессмысленными абстракциями. Наш интерес к социологии берется из нашего социального опыта; теория, не имеющая с ним связи, не покажется нам от этого ложной — но покажется абсолютно, вызывающе бесполезной. Интуитивно мы все чувствуем, что важно знать, отчего случаются революции. Гораздо труднее убедить себя, что нам так же важно знать, как люди завязывают шнурки на ботинках, даже если теория на этот счет будет обладать огромной предсказательной силой и прочими достоинствами.

Здесь можно поставить аргумент Гоулднера с ног на голову. Соответствие между этими двумя реальностями всегда существует лишь до некоторой степени — и эта степень может быть большей или меньшей. Социологи, которые по каким-либо причинам оказываются запертыми в «ролевой» реальности, слишком мало резонирующей с их персональной реальностью, обречены чувствовать постоянное разочарование в своем ремесле. Оно будет представляться им не более чем абстрактной головоломкой. Именно это временами происходит с теми российскими социологами, чей статус, доходы и карьерные перспективы связаны с применением теорий, укорененных в опыте, слишком отличном от их собственного. Если они увлекаются головоломками и если им безразлично то, что их работа не будет интересна никому из тех, кто не получает денег за соучастие в их «ролевой реальности», они способны комфортно существовать в этой ситуации. Если нет — им приходится искать другую занятость — или поднимать бунт. Последняя возможность и приводит нас к книге Елены Омельченко.

Ульяновский Центр «Регион», которым Елена Леонидовна руководит уже десять лет, представлял собой образцовое экспортно-импортное предприятие только что описанного типа. Со стороны экспорта, «Регион» был ведущим поставщиком данных о российской молодежи в англоязычную социологическую дискуссию. Со стороны импорта — одним из основных дистрибьюторов *cultural studies* в России. Многолетнее сотрудничество с коллегами из Бирмингемского университета (заметим попутно, значительно более равноправное, чем это часто бывает), в котором *cultural studies* возникли, делало позицию «Региона» в данном качестве почти что монополистской.

Cultural studies (обычно переводимые на русский довольно неуклюжим термином «культуральные исследования») в социологии молодежи возникают в 1970-х гг. Их образцовый текст — сборник статей «Сопротивление через ритуалы» (*Resistance through rituals* 1976). Их основной фокус — изучение того, как символизм молодежных субкультур, наполнивших Британию в предыдущее десятилетие — хиппи, панков, скинхедов и многих других — выражает классовые депривации их участников. В теоретическом плане, *cultural studies* опираются на синтез неомарксизма и постструктурализма, которые сочетаются у представителей этого движения с тщательным этнографическим изучением молодежных сред.

Несмотря на множество оригинальных и важных открытий, которые этот подход позволяет сделать, он имеет несколько очевидных ограничений — которые его отцы- и матери-основатели и не пытались скрыть. В фокусе интереса *cultural studies* находятся способы проведения досуга, основным предметом изучением его представителей являются паттерны потребления, а излюбленным объектом — символизм молодежных субкультур. Есть множество аспектов жизни молодых людей, которые пропадают при подобной постановке исследовательских вопросов. Получение образования или поиска работы и подходящего брачного партнера, например, в значительной степени остаются за кадром. Это сужение фокуса особенно очевидно в России, в которой молодость заканчивается быстро, а ресурсы — финансовые, временные и нормативные — для субкультурного самовыражения весьма ограничены. К 22–23 годам большинство людей в России уже работают полный рабочий день, а многие еще и растят при этом детей. Растянутый мораторий и значительные денежные средства, позволяющие целое десятилетие экспериментировать с разными стилями жизни — роскошь, доступная здесь лишь немногим. Той эмпирической реальности, которой бирмингемцы уделяли больше всего внимания, очень мало в России*. Опираясь в отечественном контексте только на их объяснительные схемы значило бы обречь себя на изучение тех аспектов социальной реальности, которые как исследуемые, так и исследователи внутренне склонны считать вторичными и маловажными.

Расхождение между «персональной» и «ролевой» реальностью здесь очевидно. Отметим еще одну обстоятельство. Обличительный пафос *cultural studies*, проблематизирующих всевозможные неравенства при позднем европейском капитализме, имеет лишь очень мало связи с тем, как ощущают себя живущие при капитализме раннем и постсоветском. Эмоциональная инфраструктура для подобных теорий отсутствует в России сегодня****. Исследователи, которые изучали молодежь так долго и так тщательно, как это делали Омельченко и ее ульяновские коллеги, безусловно, прекрасно осведомлены об этом. Однако здесь и начинаются их основные проблемы, обусловленные их положением в научном сообществе. Их статус — как в национальной, так и в интернациональной научной дискуссии — определяется способностью жить в «ролевой реальности» *cultural studies* — от которой они внутренне чувствуют себя отчужденными. «Молодежь: Открытый вопрос» представляет собой легко опознаваемую попытку справиться с этой ситуацией.

* Сама Е. Омельченко пишет об этом: «Контекст субкультурных теорий важен для анализа молодежных практик, поскольку обращен к подлинно молодежным идентичностям, формируемым вне взрослого контроля. Однако этого недостаточно для поминания молодежной повседневности. Большую часть жизни молодые проживают не в субкультурах, а в мире взрослых, которому продолжают принадлежать» (С. 146).

** Можно было бы написать статью об изящных демонстрациях ролевой дистанции (термин И. Гоффмана), которыми российские социологи дают понять окружающим, что «на самом деле» они смотрят на мир совсем не так, как они смотрят на него в своем профессиональном качестве. Ее украшением была бы история знакомой автору чрезвычайно перспективной гендерной исследовательницы, бравирующей тем, что половина ее доходов уходит на следование советам журнала *Glamour*.

Новая книга Омельченко, к которой после долгого вступления мы, наконец, переходим, состоит из трех тематически не слишком связанных друг с другом частей. Часть первая, «Молодежный вопрос в России: От революции до конца тысячелетия» представляет собой довольно традиционное исследование дискурсивного конструирования молодости в официальном (властных органов и исследователей) дискурсе. Часть вторая, «Этапы конструирования молодежного вопроса на Западе», является кратким курсом истории англоязычной социологии молодежи, какой эта история видится, глядя из Бирмингема (это обстоятельство далее станет важным). Интересные сами по себе, они не особенно оригинальны с точки зрения решения тех проблем, которым посвящена эта рецензия. Тем не менее, упоминания о «несоответствии теоретических объяснений “молодежных проблем” большинством современных концепций — реальным жизненным историям и практикам разной российской молодежи» (С. 17) и «очевидны[х] достоинства[х] советских подходов» в социологии молодежи, которые автор планирует соединить с западными (С. 24), заставляют читателя приготовиться к чему-то интересному.

Этим интересным оказывается часть третья, «От проблемного конструкта молодежного вопроса — к анализу молодежной повседневности», в которой Омельченко, наконец, берется показать, как Это надо делать. Читая книжку от корки до корки, сложно удержаться от предположения, что у нее, в действительности, два автора — назовем их Омельченко-1 и Омельченко-2. Омельченко-1 — носитель «ролевого» взгляда на мир, воплощенного в *cultural studies* и прочей респектабельной социальной теории. Омельченко-2 — хранитель «личной» реальности автора. Отношения между ними крайне напряженные, но не доходящие до открытого конфликта — вероятно, потому, что номер второй не забывает о том, что номер первый его кормит и поит. Части первая и вторая за небольшими исключениями написаны Омельченко-1. В третьей части Омельченко-2 делает попытку совершить небольшой переворот.

Главная проблема с большинством теорий молодежи — пишет Омельченко-2 — состоит в том, что «исследователи интересуются ... теми феноменами, которые уже являются (или потенциально могут стать) проблемой» (С. 134). Очевидным образом, это относится к теориям, которые видят в самой молодежи проблему для общества. Однако это относится и к тем теориям — включая *cultural studies* — которые видят в обществе проблему для молодежи. То, что Омельченко-2 рекомендует как «свежий взгляд» на вопрос — тщательное, натуралистическое изучение «реальных» (это слово повторяется в третьей части регулярно) молодежных практик. Надо развивать «целостный взгляд на саму молодежную жизнь, вне зависимости от структурной или культурной сферы, в которой реализуются некоторые общие, значимые для индивида или группы, императивы бытия» (С. 145).

Здесь перед автором встает задача очерчивания стратегии анализа, которая удовлетворяла бы этим стандартам. К своему сожалению, я должен констатировать, что, несмотря на то, что предлагаемый подход даже получает в книге Омельченко эффектный лейбл «стилевой анализ», его суть остается несколько туманной. Само понятие «стиля» или «стилевой стратегии» не получает в том месте, в котором оно вводится (С. 149–151), никакого определения. Из текста можно заключить, что имеется в виду некая

целостная форма жизни, выбор которой не определяется принадлежностью к статусным или классовым группам. Чем же его выбор, в таком случае, определяется — может быть, психологическими факторами? — не объясняется никак. Никаких доказательств того, что такая вещь, как несвязанный с принадлежностью к традиционным статусным группам стиль жизни, вообще существует в российском обществе, также не приводится*.

В целом, третья часть, которая, видимо, по замыслу автора, должна была бы содержать эффектные демонстрации применения предложенного ею подхода, выглядит несколько хаотичным нагромождением рецептов и суждений, в разной степени убедительных, оригинальных и эмпирически обоснованных. Многие авторские выводы производят впечатление тривиальностей. Например, абзац, начинающийся с многозначительного утверждения «Молодежный вопрос... можно представить в виде трехмерной системы координат, заданной местом, временем и действиями...» (С. 143) заканчивается следующим сомнительным примером открытия, которое эта истина позволяет сделать: «оказалось, что свободное время школьников и студентов из Коми ... имеет ряд значимых особенностей, в сравнении со свободным временем краснодарской молодежи... если, например, основными местами тусовок у воркутинцев — так же, как у ухтинцев, и печерцев — зимой были подъезды, гаражи, подвалы и квартиры (свои или друзей), то краснодарцы намного больше времени проводили на городских площадях, в парках, у моря». Другие выводы крайне спорны. В одном месте Омельченко пишет: «Последовательное вступление в ряды октябрят-пионеров-комсомольцев-членов КПСС... было “страховкой” нормальной [sic! — М.С.] социализации. Это помогало молодежи работать, учиться, шаг за шагом занимая одобряемые статусные позиции в общественной структуре» (С. 140). Никаких доказательств. В другом месте: «Компьютерные игры используются молодежью для освобождения от социального подавления» (С. 156). Тут и там в текст встраиваются оценочные суждения типа «свобода современной молодежи остается псевдо-свободой» (С. 159). Наконец, то, что, видимо, является самым интересным из опубликованных до сих пор ульяновской группой результатов — исследование оппозиции «нормальные»/«продвинутые» в молодежной среде — почему-то не получает в «Открытом вопросе» никакого освещения, упоминаясь только в одной сноске (С. 146).

Основной призыв автора — исследовать жизнь молодых так, как она протекает — не вызывает ничего, кроме горячего согласия. Но есть опасение, что, для того чтобы сделать это, Омельченко-2 придется решиться на окончательный разрыв с Омельченко-1, от теоретического багажа которой она по-прежнему зависит. Cultural studies не предназначены для всестороннего изучения, они нацелены на то, чтобы обвинять и выносить приговор современному капитализму. Потребуется совершенно иные теоретические рамки, чтобы развивать эту работу в ином направлении.

* Любой, кто знаком с достаточным количеством молодых российских социологов — людей, сгруппированных по принадлежности к вполне традиционной профессиональной группе — может прикинуть, что как минимум девять десятых из них пьют (когда могут выбирать) красное сухое вино, покупают посуду в Икее (если она есть поблизости), читали Зюскинда, голосовали бы за экологическую партию (если бы таковая существовала) и не имеют предубеждений против добрачного секса. Если это не общность стиля жизни, то что же?

Я рискну предположить, что эти рамки не обязательно изобретать с нуля, но для того чтобы найти их там, где они есть, требуется отказаться от нескольких тщательно взращенных предрассудков. Исследование субкультур началось с работ социологов из Чикагского университета, которые ставили перед собой ту самую задачу, которую ставит сейчас перед собой Омельченко-2. Они стремились наблюдать жизнь локальных сообществ, как она в действительности протекает, и исследовать смыслы, которые их члены вкладывают в свои практики. Собственно, классические тексты, написанные в Чикаго в 1950-е–60-е гг. удовлетворяют всем требованиям, которые Омельченко ассоциирует со «Свежим взглядом» на исследования молодежи: отказ от социально-инженеристского видения реальности, соединение структурного, культурного и социально-психологического подходов, внимание к трансформациям идентичности, отказ от унифицирующих категорий и признание специфики разных социальных миров, изучение пространственно-временных особенностей взаимодействия*. С точки зрения этих требований, исследования джазовых музыкантов Беккером или хастлеров и битников Недом Польски (Polsky 1967) являются образцовыми исследованиями.

Омельченко (вернее, Омельченко-1) упоминает Чикагскую школу, почему-то записанную ею в «психодинамические концепции», но уделяет ей меньше страницы и только в связи с изучением молодежных банд Трэшером и Уайтом (С. 84) **. С чем связано это невнимание к теориям, которые, на первый взгляд, так хорошо ложатся на «личную» реальность Омельченко-2? Вероятно, основной причиной является то, что история социологии молодежи была усвоена в Ульяновске в ее бирмингемской версии — которая, по логике символической борьбы, вовсе не была склонна воздавать должное предшественникам и конкурентам. Однако если члены ульяновской группы не желают однажды почувствовать себя изобретателями велосипедов, им настоятельно рекомендуется обратиться к этому источнику.

Может показаться, что конец этой рецензии плохо соотносится с ее началом. Разговоры о несовпадении «ролевой реальности» западных теорий и «личной реальности» их российских пользователей легко интерпретировать как предложение отказаться от интеллектуального импорта вовсе и взрастить свою собственную социальную науку***. Я не хотел бы быть понят та-

* Подробнее о релевантности Чикагской школы в этих и многих других отношениях можно прочесть у Эндрю Эббота. Эббот пишет, что относительное забвение достижений Чикагской школы связано с двойственным статусом, который она приобрела — не совсем классики (которой мы легко прощаем политически и интеллектуально совершенно чуждые нами доктрины) и не совсем современной социальной теории (Abbott 1997). Разумеется, циклы забывания, описанные Гербертом Гансом (Gans 1992), позволяющие примерно 25 лет спустя младшим поколениям социологов повторять открытия, уже сделанные их предшественниками, также могли сыграть тут свою роль. Многие репутации в современной социологии были бы похоронены, если бы чтение старых профессиональных журналов стало обычным досугом студентов-социологов.

** Если мне простят подобное замечание, я отметил бы, что этот фрагмент книги Омельченко явно написан под сильным вдохновением от соответствующего места в ныне классическом тексте ее британской коллеги Хилари Пилкингтон (ср. Pilkington 1994: 8–14 и Омельченко 2004: 84–85)

*** Работа, которой занимаются «научные националисты», третий социальный тип, порожденный языковым барьером

ким образом. Наоборот, выскажу еще одно предположение, совсем уж рискованное, о том, почему Чикагская школа может оказаться релевантной в российском контексте. С точки зрения эмоциональной инфраструктуры, пригодной для построения социальных теорий, Россия сегодня значительно больше похожа на Соединенные Штаты после Великой Депрессии, но до 1968 г., чем на Британию 1970-х.* Свежие воспоминания о тяжелейшем кризисе, сменившемся стремительным экономическим ростом, и очевидность масштабных социальных изменений в обоих случаях стимулировали острый интерес общества к тому, чем оно стало. Этот интерес привел, в частности, к становлению индустрии этнографической социологии в Америке. В России подобный спрос рождает предложение со стороны журналистов, беллетристов (характерный пример — книжная серия «Современная Россия: Так мы живем», в которой вышли «Вокзал», «Отель» и «Радиостанция») и продюсеров сериалов («Зона», «Бригада», «Дальнобойщики», «Студенты»). Удастся ли голосу социологов прозвучать в этом хоре — это, собственно, вопрос о будущем социологии в России.

В заключение еще несколько слов о книге. Первая ее глава будет интересна читателям, желающим ознакомиться с образцовым исследованием дискурсивного конструирования реальности. Вторая, подозреваю, с минимальными изменениями переключит во множество дипломов и диссертаций в качестве обзора литературы, а также пригодится всем, кто захочет быстро получить представление о том, что такое *cultural studies*. Глава третья останется памятником авторским интеллектуальным исканиям. Будем надеяться, что вскоре она будет восприниматься как раннее и незаконченное сочинение, в котором только острый взгляд различит контуры грядущих достижений.

Книга прекрасно издана на отличной бумаге в одном из тех увеличенных форматов, которые словно специально придуманы, чтобы не уместиться в ряд с другими книгами.

Литература

Волков В. От вымысла к реальности: «Брат 2» и «Бумер» // *Неприкосновенный запас*. 2004. № 6. С. 214–220.

Abbot A. On Time and Space: The Contemporary Relevance of the Chicago School // *Social Forces*. 1997. No 4. С. 1149–1182.

Gans H. Sociological Amnesia: The Noncumulation of Normal Social Science. // *Sociological Forum*. 1992. No 4. С. 701–710.

Gouldner A. *The Coming Crisis of Western Sociology*. N.Y.: Basic Books, 1970.

Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain / Ed. by Hall S. and Jefferson T. London: HarperCollins, 1976.

Pilkington H. *Russia's Youth and Its Culture*. London: Taylor & Francis Books Ltd, 1994.

Polsky N. *Hustlers, Beats and Others*. Chicago: Aldine, 1967.

* Я сознаю, насколько это рискованное сравнение, и хочу переложить часть ответственности за него на коллегу, который, насколько мне известно, первым в российской социологии начал эксплуатировать эти исторические параллели — Вадима Волкова (см., напр. Волков 2004).